

Флорентийское
общество

Chiesa di S.^{ta} Croce



Тоскана на Нерли

Книга стихов Яна Бруштейна



Флорентийское
общество

Тоскана на Нерли

Книга стихов Яна Бруштейна



Летний сад
Москва
2011

УДК 821.161.1-1
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44
Б89

Бруштейн Ян

Б89 Тоскана на Нерли. — М.: Летний сад,
2011. — 151 с.

ISBN 978-5-98856-122-4

Ян Бруштейн родился в Ленинграде вскоре после войны. Сорок лет живет в Иванове. Служил в армии. Работал журналистом. Преподавал в вузе историю и теорию изобразительного искусства. Кандидат искусствоведения. В «новое» время участвовал в создании негосударственного телевидения, возглавлял крупный региональный медиа-холдинг.

Стихи и проза печатались в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские огни», в сборниках и альманахах.

В эту книгу вошли стихи из трех сборников Яна Бруштейна: «Карта туманных мест» (2006), «Красные деревья» (2009) и «Планета Снегирь» (2011)

УДК 821.161.1-1
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

ISBN 978-5-98856-122-4

© Бруштейн Я., 2011
© ООО «Издательство “Летний сад”», Москва, 2011

Глубокое дыхание

Ян Бруштейн — замечательный русский поэт. Настоящий. Такой, которому сразу же веришь. Поразителен и уникален синтез, присутствующий в его стихах, вобравших в себя всё, от самых высоких тонов до тех будничных слов, о которых Анненский говорил, что они — самые сильные. Строй стихов, множество разнообразных интонаций, великолепная пластика, пульсирующие, динамичные ритмы, откровенность, открытость любой строки, точность каждой детали, глубокое дыхание текста, постоянное и органичное движение речи, грусть и нежность, любовь и надежда, восприятие жизни как щедрого дара, несмотря на непростые прожитые десятилетия, мужское, отважное отношение к яви, мгновенно узнаваемый, отчётливо различимый в гуле нынешнего стихотворчества, свой собственный, личный, неповторимый голос, золотистый, седой, серебристый, исходящий от стихов, благородный, таинственный свет, вол-

шебная, земная и небесная, звучащая широко и свободно, со всей своей полифонией, музыка бытия, твёрдая вера в неизбежность победы добра над злом, абсолютно детское изумление перед откровениями всех мгновений, часов, дней и лет, находящееся в давней дружбе с огромным жизненным опытом, да и все остальные приметы поэзии Яна Бруштейна, говорят о том, что это — явление, редкостное, серьёзное, значительное. Для меня она — радость и счастье. Знаю, что эта поэзия — прекрасна и долговечна.

Владимир Алейников
Лауреат литературной премии Андрея Белого

Моя тоска на...

1. На Нерли

На покрытой заплатами старой байдарке,
Мимо сосен, создавших готический строй,
Мы текли сквозь туман, ненасытный и жаркий,
Там, где заняты рыбы вечерней игрой.

В среднерусской воде растворялись посменно
Все мои города, все мои времена,
Их вмещала, не требуя тяжкую цену,
Невеликая речка без меры и дна.

...Пусть ломало меня и по миру таскало,
Но давно измельчали мои корабли,
Только вижу: опять отразилась Тоскана
В золотой предзакатной неспешной Нерли.

Погружу во Флоренцию руки по локоть...
Промелькнула над крышами стайка плотвы...
Мой попутчик наладился якать и окать,
И ругать испугавшие рыбу плоты.

Рыба шла на крючок неизбежно и сонно,
И дрожащая леска звенела струной,
И скользила байдарка, уже невесома,
Между небом и городом, вместе со мной.

2. Мечта о Тоскане

*Ты ль Данту диктовала
страницы «Ада»? Отвечает, — «Я»*

Анна Ахматова

Мечта о Флоренции вроде вериг:
Болит — не болит, а тихонечко ноет,
И длится моё проживание земное,
Двенадцать шагов от окна до двери.
Мечта о Тоскане похожа на дым —
От этих лесов, безнадежно горящих.
Давно бы сыграл я в отъезд или в ящик,
Но разве сбежишь ты от нашей беды?
В моих бесцензурных по-прежнему снах
Я камни топтал и Мадрида, и Ниццы...
Но чаще всего, представляете, снится,
Ночная Флоренция с криками птах.
Здесь воздух так вкусен, бездымен и чист,
Я вижу, как время свивается в узел,
И как пролетают усталые музы
К последним поэтам, не спящим в ночи.

Флоренция словно спасательный круг
В летальной борьбе между болью и светом.
А кто победит... я узнаю об этом
В той жизни, где снова мы вступим в игру.

Мечта о Тоскане покрепче вина,
Но кто виноват в этой странной не встрече...
И пью за клеймо я, которым отмечен,
И в кованом кубке — ни края, ни дна.

3. Флоренция

Флоренция. Любовь. Растрата
Того, что прежде было свято
И растворилось в тишине.
Нас много били и ломали,
Но нас задумали из стали
Отцы на страшной той войне.

Мечта. Флоренция. Доныне
Я помню, как, невыездные,
Преградам века вопреки,
Закрыв глаза, вовсю бродили,
Листая улицы и стили,
Вдоль Арно — больше чем реки.

Флоренция. Прощанье. Танец...

А если завтра не настанет,
И снег не стает с наших век?

Но Санта-Кроче, как Титаник,
Вплывает в двадцать первый век.

4. Фрязины

По Москве гуляют фрязины¹,
И хула им вслед слышна:
«Образины, безобразины,
Целый день пьяней вина!»
Расшугали девок хохотом,
Возмущая местный люд.
И не думают, а что потом,
Наливают, сладко пьют.

¹ Фрязин — старорусское название выходцев из Южной Европы романского происхождения, в основном итальянцев (другие выходцы из Западной Европы назывались «немцами»). Многие известные итальянцы — архитекторы Кремля, носили прозвище «Фрязин». Некоторые не были отпущены на родину, несмотря на условия договора и мольбы. Попытки побега в Италию обычно не удавались.

Флорентинцы и миланцы,
Каботинцы, голодранцы,
Как же носит их земля?

Архитекторы, ваятели,
Колокольных дел старатели
И строители Кремля!

5. Просодии

Просодии навязли на зубах...
Но Леонардо так прилипчив — страх!
Кривой, поскольку вообще Пизанский¹,
(О нем в анналах есть такая запись) —
То цифры веером, то кролики толпой,
То числа липнут к трубам дымоходным,
А в Турку жмурки тоже всепогодны,
И Леонардо помнит, но другой —
Он золотым сеченьем очарован,
Он с вечностью задумывался вровень,
И целый мир он выгибал дугой...

¹ Леонардо Фибоначчи Пизанский — великий математик 13 века. На основе числового ряда, носящего его имя, где он использовал пример с кроликами, Леонардо Да Винчи в 16 веке сформулировал теорию Золотого сечения. Конечно, разделенные тремя веками они не встречались.

Два Леонардо чай заморский пьют:
Вон тот Да Винчи, этот — Фибоначчи,
И числа рассыпают на удачу,
И кролики под столиком снуют.

Я — рядом на траве, мой голос тих.
Ловлю я свет, дрожащий возле них.

6. Джулиано¹

*Джулиано был возлюбленным Весны, и ему
пришлось умереть, когда Лето только со-
биралось вступить в свои права. Его лет-
нее призвание на этом оборвалось. Вся
эпоха Раннего Возрождения словно прони-
зана сиянием этого белокурого юноши*

Рильке

Темна Флоренция в апреле,
В тумане прячется, дичась.
Но слышал он, что камни пели,

¹ Джулиано Медичи — соправитель своего брата Лоренцо Великолепного. Убит в возрасте 25 лет во время мессы в флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Фьоре 26 апреля 1478 г. Похоронен в Капелле Медичи (архитектор и скульптор — Микеланджело Буонаротти) рядом с Лоренцо. Хотя официально статуя посвящена сыну Лоренцо, она явно относится к его убитому брату. О несхожести статуи с оригиналом скульптор сказал, что через тысячу лет это не будет иметь значение.

В последний день и в смертный час.
Во чреве стынувшей Капеллы
Буонаротти грозный бог:
Пространство размечая мелом,
Из камня изгоняет боль.
Сметая мраморные крошки,
Ломая гаснувший сонет,
Хулу не слыша и совет,
Забыв, что есть на свете роскошь
Покоя. Сколько тишины!
Темна Флоренция в апреле,
Когда ножи достигли цели,
И этим все оглушены.
Он смотрит отрешенно, странно.
И в час, когда стоишь пред ним,
Забудь, что в жизни был другим
Богopodobный Джулиано.

7. Ангел Мишенька

«Всеблагой Правитель небес милосердно обратил свои взоры на землю, увидел тщетную нескончаемость стольких усилий, бесплодность пламеннейших попыток, людское самомнение, еще более далекое от истины, чем потемки от света, и соизволил, спасая от подобных заблуждений, послать на землю гения».

Вазари о Микеланджело

Ангел Мишенька родился в малом городке — золотушный, некрасивый, тихий, словномышь. Детство Миши проходило больше на реке: там, где пили, и любили, и «Шумел камыш» пели злыми голосами, полными тоски. Проплывали теплоходы, воя и звеня. Приезжала на маршрутках или на такси, словно инопланетяне, бывшая родня. Пили водку с кислым пивом, жарили шашлык... Батя был вина пьянее, в драку с ними лез. Ангел Мишенька боялся, и, набравши книг, незаметно топал-шлепал в недалекий лес. Он читал о странных людях, временах, богах, слабым прутиком рисуя что-то на земле. Был он прост и гениален, весел и богат,

и его миры роились в предзакатной мгле.
Дома недоноска, психа — в мать и перемать,
никакой он не работник... Видно, потому,
чтобы вовсе не пытался что-то малевать,
мамка-злыдня порешила сплавить в ПТУ.
Здесь его немного били, заставляли пить.
Огрызаться опасался, мягкий словно шелк.
Он из мякиша пытался чудный мир лепить.
Но, как видно, с облегченьем в армию ушел.

Злой чечен заполз на берег, точный как беда,
и солдатика зарезал, тихого, во сне.
Потому-то, понимаешь, больше никогда
Микеланджело не будет в нашей стороне.

8. Роща Чистилища

*«Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей давний ужас в памяти несут!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще».*

Данте

В городах, покрытых мраком, в улицах,
текущих мёдом,
Можно выть одним собакам, можно плыть
одним уродам.
Между Сциллой и Харибдой опрокинутые
лица:
То ли вглубь холодной рыбой, то ли ввысь
горячей птицей.
Но засохших веток лапы крепко держат нас
за руки.
На столбах побиты лампы и слова свело
от скуки.
Тот, кто всё на свете тратит, и кого мы
разлюбили,
Скажет мне: «Осел ты, братец, что остался
в этой гнили!»
Всё сложнее или проще, как на части
я разобран —

Пепел выгоревшей рощи изнутри мне бьет
по ребрам.
Эта каменная пытка стала непреложным
фактом,
И ослиное копыто узаконено асфальтом.
Что поделать, всё нелепо. Так записано
и вышло...
Опрокинутое небо навсегда легло на крыши.
Город медный дышит мерно, птиц остывших
ветер сушит.
Роща вырастет, наверно. Там, где будут
наши души.

* * *

Когда я по лунной дороге уйду,
Оставлю и боль, и любовь, и тревогу,
По лунной дороге, к незримому Богу
Искать себе место в беспечном саду,
По лунной, по млечной...

И легок мой шаг,
Пустынна душа, этим светом омыта,
По лунной дороге, вовеки открытой,
Легко, беспечально, уже не спеша,
Уже не дыша...

И мой голос затих.

Два пса мне навстречу дорогой остывшей,
И юный — погибший, и старый — поживший,
И белый, и рыжий. Два счастья моих.

И раны затянутся в сердце моем,
Мы вместе на лунной дороге растаем —
Прерывистым эхом, залиvistым лаем.
И всё. Мы за краем. За краем. Втроем.

Время средних

Уже не Средние века,
И тьма слепая далека,
Но всё ж горит Джордано Бруно.
Его Венеция — сдала
И, опустив свои крыла,
Теряет яростных и юных.

Всю веру бросив на весы,
Средневековья блудный сын —
Горит, горит Савонарола.
Флоренция, мечту поправ,
Скрутила свой могучий нрав
И жалкие играет роли.

У инквизиции дела,
И птица-тройка раздала
Кому тугой свинец в затылок,
Кому — Устьяг, лесоповал,
Где доходяга остывал,
И где закат взрывался стылый...

Так и живем среди веков,
И выбивает стариков
Эпоха ворона и вора.

Уже не Средние, увы,
Но не поднять нам головы,
Когда потрескивает хворост.

Не может млечная страна
Свои припомнить письма,
Дождаться доброты и света...
И правит каменный закон
В начале меркнущих времён.
И поднимается комета.

Туман. Катынь

Польская честь, флорентийская месть,
Страшно кричат самолеты в тумане.
Что-то такое безбожное есть
В этой земле, на которую тянет
То ли вспахать, подломивши крыло,
То ли припасть к потаенной могиле
В проклятом месте, откуда несло
Запахом боли, неправды и гнили.
Снова мы вместе, и снова мы врозь,
Плоть уязвима, а смерть неустанна...
Кровь голубая и белая кость —
Все полегли за стеною тумана.
Не отзовется живая душа
В этом пространстве, слепом и безлунном:
Как на параде, печатают шаг
Злые уланы, лихие драгуны.
Дышит и чавкает жирная грязь,
Входят в туман эскадроны и роты,
И салютуют, прощально светясь,
В землю влетающему самолету.

Нить

Выводит художник последний рассвет,
Он знает, что выпадет завтра ему —
Ворует художник из россыпи лет,
Рисует себе и тюрьму, и суму,
Малюет укрытый деревьями дом,
Веселых и злых нерожденных детей,
Жену, что старательно плачет о нем,
И друга (утешит без всяких затей).
Залетная птица — всего три мазка,
За ней плотоядно крадущийся кот,
И лишь у собаки застыла тоска
В глазах. И сегодня — петух не споет.
Задымленный сад — нечто вроде Вагто,
Забор покосился — пора подновить...
Художник встает. Надевает пальто.
Уходит. И здесь обрывается нить.

Сон

Если будем раскачивать сны —
Значит, мало нам выдали в душу.
И следы наши воды разрушат
Ныне, присно текущей весны.

Так сказал мне один человек.
Он из мрамора. Видимо — грек.

У него половина лица
Поросла апельсиновой коркой,
А словарь его грубый и горький,
Расшифрованный не до конца.

В этом сне я проснуться могу
На античном его берегу.

Половину непонятых слов
Молча мне объяснит перевозчик,
А вторую, не трогая вожжи,
Черный мальчик, погонщик ослов.

Пляж под Хайфой. Песок раскалён.
В горле сушь. Перевернута суша.
Я покинут, и мир мой разрушен,
Опрокинут в немыслимый сон,
Где землей я придавлен, как все
В среднерусской моей полосе.

СТИХИ СЫНУ

Мальчишка с пристани ныряет.
Он нас с тобой не повторяет,
Хотя знакомые черты
В нем проступают ежечасно.
Ах, прыгать в море так опасно
С бетонной этой высоты!

Он неуклюжий, долговязый,
Грубит, и с нежностью ни разу
На нас с тобой не поглядел.
Из всех рубашек вырастает,
Вокруг него — иная стая,
И мы как будто не у дел.

Из моря выйдет, посиневший,
Так быстро вырасти посмевший
(Попробуй-ка, останови!)
Шагнет на край, взмахнет руками,
И скроется за облаками
От нашей суетной любви.

Он приспособлен для полета,
И радости тугая нота
В соленом воздухе дрожит.

Мальчишка с пристани ныряет,
Он нас с тобой не повторяет
И нам он не принадлежит.

Откликнется на имя Сына,
Потом — саженками косыми
Навстречу ветру и волнам
От нас, от нас — по белу свету.
Но отчего в минуту эту
Так горестно и сладко нам?

пусть до края годы злые и навывлет и сполна
утешая киммерия мне плеснет в стакан вина
ты налей мне нынче втрое ты попробуй
мне поверь

и алейников откроет заколдованную дверь.

Ученик Пигмалиона

Я неумелый ученик,
Но прикоснусь рукою смелой
Я к мрамору. И в тот же миг
Падут умения пределы.

Того, что мастер не дерзнул —
Сорвать одежды с Галатеи.
Пока, усталый, он уснул,
Я и сумею, и посмею.

Ее любовью напою,
И белый мрамор станет смуглым,
И мастер оглядит с испугом
Пустую комнату свою.

Монолог атланта

Стонут плечи от избытка таланта,
Стонут руки от недюжинной силы
Небо держат все другие атланты,
Ну а мне — не хватило.

Я хватаюсь за лепные балконы,
Я гляжу себе стыдливо под ноги.
Очень грустно чем-то вроде колонны
Быть у всех на дороге.

Я когда-нибудь возьму, да и плюну,
Я уйду туда, где отроду не был.
Я красивый и вполне еще юный,
Я найду себе небо!

Но в лицо смеются кариатиды:
«Ну, куда ты без галош — да под дождик...»
Это точно, я поставлен для вида,
И поэтому — должен.

Стонут мышцы от избытка таланта,
Стонут руки в нетерпенье законном.
Небо держат все другие атланты,
Ну а я — под балконом.

* * *

...и если горечью случайной
скупая память обдерет,
глотни вина в забытой «Чайной»
под заскорузлый бутерброд.
О как мы пили, как мы пели
под «33» и «Солнцедар»,
тогда б мы выдержать сумели,
наверно, даже скипидар!
И наши дамы в легких «мини»
(чувихи, кадры и герлы)
так были строги и милы,
и так в любви неутомимы...
Пока мы бредили бедово
по нашим кухням и дворам,
один генсек сменял другого,
нисколько не мешая нам...

Саше

В Кривоколенный переулок
Войду, стезя моя легка,
И там куплю я пару булок,
Вино, бутылку молока
И папиросы. С другом Сашей
Мы все съедим и разопьем.
Нам по семнадцать. Я дурашлив.
А он силен. И мы вдвоем.
На той скамейке развалившись,
Совсем легонько подшофе,
Мы с ним — на улице столичной,
Я в бобочке, а он в шарфе...
Сидим — форсим, но эта накипь
Нам не мешает по весне
Поговорить о Пастернаке,
О Сталине и о войне.
Бравируя стихом точеным,
Дразню его, пуская дым.
И разве что из-за девчонок
Порой ругаемся мы с ним.

Мы врозь в безвременье шагнули,
Лишь помнили издавека.
И настигали нас не пули —

Потеря смысла и тоска.
Я не был рядом в то мгновенье,
Когда он срезал эту нить.
Не смог ни словом я, ни тенью
Тогда его остановить.

Вину мою избыть мне надо,
И знаю я в конце пути:
Когда-нибудь мы будем рядом —
Там, где душа его летит.

Автобусом в Телави

1.

Автобусом в Телави.
Там друзья
Из подземелья достают бутылки,
Ковры кладут на старые скамьи
И раздувают угли.

И Заза, освещенный поздним солнцем,
Размахивая шашлыками,
Поет о Боге
Древние слова.

Ираклий наливает мне в стакан
Тугую кровь земного винограда,
И с шелковицы падает на стол
Подсохший лист...
Автобусом в Телави!

2.

О, Цинандали и Киндзмараули,
Кахети, Тбилисури, Ахашени.
О, Саперави, о, Эрети,
Напареули или Хванчкара!
Но — Мукузани, даже Гурджаани,

Васисубани — о! а Ркацители,
К тому же — Алазанская долина,
И даже кисловатый Саирме.
Под хачапури там, на Руставели —
Вода Логидзе разноцветным чудом...
Но лучше нет — из древнего марани,
В Телави, без названия вино!

3.

В подвале, там, на Руставели,
Где меньше пили, больше пели,
Где я простужено сипел,
Ираклий к дамам крался барсом,
И Заза неподкупным басом
Как сами горы, мрачно пел.
Вода со вкусом земляники,
На стенах сомкнутые лики
Людей, зверей и вечных лун...
Дато был сед, а Важа — юн.
И шашлыки нам нес Левани,
Мераб с Нодаром наливали
И выпевали каждый тост!
Алаверды от Амирани —
Мы пели, словно умирали.
Шота был строен, Цотне — толст...

Но видел я в дверную щелку:
Варилось время, как сгущенка,
И там, на дальнем рубеже,
Железный век спешил к закату,
И эти чудные ребята
Вошли в историю уже.
Но если ночь моя бессонна,
То вспомню я Виссариона,
Тенгиза, Джабу и Беко....
И отпадет с души короста,
И уходить мне будет просто,
И жить по-прежнему легко.

Якиманка

Так ресторанно, пьяно, манко
Меня приветит Якиманка.
Там, где крышует Крымский Вал,
Где я восторженно кивал
И впитывал стихи чужие...
Здесь добрые ребята жили,
И наливали.

И порой

Я повторяю, как пароль
Названья этих вин забытых,
Из мест, куда врата забиты
Российской танковой броней...

Как эту память не роняй,
Она — не дерево сухое,
Она тебе не даст покоя,
И ждет, заснувши до поры
Под этикеткой «Хванчкары»!..

Жизнь прошла. Она за кадром.

Старый фильм — который год.
И уже известен каждый предстоящий поворот.
А дорога дальше длится, сталью отстояв права,
И ложатся на страницу нежеланные слова:
Пусть слепые эти тени унесет железный зверь,
Но земное притяженье не удержит нас теперь!

Сестрорецкое

В забубенном Сестрорецке, возле озера Разлив,
Я свое пробегал детство, солнцем шкурку
прокалив.

Там, где Ржавая Канавка, там, где Лягушачий Вал,
Я уже почти что плавал, далеко не заплывал.
Эта финская водица да балтийский ветерок
Угораздило родиться, где промок я и продрог,
Где коленки драл до мяса — эту боль
запомнить мне б —
Где ядреным хлебным квасом запивал соленый
хлеб,

Где меня жидом пархатым обзывала шелупня,
Где лупил я их, ребята, а потом они — меня.
Только мама знала это и ждала, пока засну
Я на улицу с рассветом шел, как будто на войну.
Чайки громкие летали, я бежал, что было сил,
Со стены товарищ Сталин подозрительно косил...

Сам себя бедой пугая, сбросил маечку в траву,
Приняла вода тугая, и я понял, что плыву!
Непомерная удача, я плыву, а значит — жив
Называлось это — дача, детство, озеро Разлив.

Мой прадед

Мой прадед, плотогон и костолом,
Не вышедший своей еврейской мордой,
По жизни пер, бродяга, напролом,
И пил лишь на свои, поскольку гордый.
Когда он через Финский гнал плоты,
Когда ломал штормящую Онегу,
Так матом гнул — сводило животы
У скандинавов, что молились снегу.
И рост — под два, и с бочку — голова,
И хохотом сминал он злые волны,
И Торы непонятные слова
Читал, весь дом рычанием наполнив.
А как гулял он, стылый Петербург
Ножом каленым прошивая спьяну!
И собутыльников дежурный круг
Терял у кабаков и ресторанов.
Проигрывался в карты — в пух и прах,
Но в жизни не боялся перебора.
Носил прабабку Ривку на руках
И не любил пустые разговоры.
Когда тащило под гудящий плот,
Башкою лысой с маху бил о бревна.
И думал, видно, — был бы это лед,
Прорвался бы на волю, безусловно!..

Наш род мельчает, но сквозь толщу лет
Как будто ветром ладожским подуло.
Я в сыне вижу отдаленный след
Неистового прадеда Шаула.

Мой дедушка, сапожник

Маленький сапожник, мой дедушка Абрам,
Как твой старый «Зингер» тихонечко стучит!
Страшный фининспектор проходит по дворам,
Дедушка сидит, но трудится в ночи.

Бабушка — большая и полная любви,
Дедушку ругает и гонит спать к семи
Денюжки заплатит подпольный цеховик,
Маленькие деньги, но для большой семьи.

Бабушка наварит из курочки бульон,
Манделех нажарит, и шейка тоже тут.
Будут чують запах наш дом и весь район,
Дедушка покушает, и Яничке дадут.

Дедушку усталость сразила наповал,
Перед тем, как спрятать всего себя в кровать,
Тихо мне расскажет, как долго воевал:
В давней — у Котовского, а в этой ...
будем спать...

Маленький сапожник, бабуле по плечо,
Он во сне боится, и плачет в спину мне,
И шаги все слышит, и дышит горячо,
И вздыхает «Зингер» в тревожной тишине.

Петербург

я фонтанку и невку с ботинок сотру,
отряхну этот дождь и асфальтную крошку
я вернулся в свой дом не к добру, не к добру,
я как будто бы прожил всю жизнь понарошку
где-то там, где верста поглотила версту,
где стоят города без дождя и тумана,
я зачем-то дождался вот эту весну,
и сошел на перрон, и сошел бы с ума, но
незадача — я трачу последние дни
меж облезлых домов, словно псов обветшалых,
против шерсти их глажу, прошу — прогони,
прогони, ленинград, чтобы сердце не жало.
он меня об асфальт приласкает лицом
и забросит в тяжелое чрево вагона.
навсегда провалюсь то ли в явь, то ли в сон —
ты прости, петербург, мы уже не знакомы.

Любовь

* * *

...А женщина плыла, летела
По той границе дня и снега,
По лезвию души и тела —
Вся для беды или побега.
Она была совсем особо,
В глаза метнулась прядь косая.
Сапожки, тронутые солью,
Земли, казалось, не касались.
Она была сиюминутна,
И вечность прятала в ладони.
А я завидовал кому-то,
Кто ждал ее в далеком доме.

* * *

Когда тебя еще не было,
Я мечтал о тебе по ночам.
Волосы твои по плечам рассыпаны,
В твоих глазах — зеленые искры.
Ты свернулась калачиком, нескладная девчонка,
испуганная моими ласками.

А утром
Ты отчаянно проснулась
и бросилась в холодную воду нового дня.

Потом ты остригла волосы,
Стала взрослой,
И утром уже не вскрикиваешь,
увидев меня рядом.
Ты знаешь себе цену.
На тебя оглядываются, и это тебе нравится.

Если я схвачу тебя на руки,
и закружу, и заставлю смеяться,
Ты прижмешься ко мне, поцелуешь,
И выскользнешь, как вода, из ладоней.
Но когда ты еще спишь —
Голенастый подросток с испуганными губами —
Я целую твой висок,
тоненькую голубую жилку,
И мое сердце обрывается
В страхе за тебя.

* * *

За эту встречу — жизнь и час,
За чудо это — миг и вечность...
А говорили, будто верность
Не создана для грешных, нас.
Причудам века вопреки
Тяжелые откроем двери,
Мерцающим глазам поверим
И припадем к теплу руки.
Свою накопленную боль
Воздвигнем небом над собой,
Расплещем, как из полной чаши.
И станет крепостью порог,
И бросит стрелы грешный бог,
Придуманный любовью нашей.

19 августа любого года

Я прыгну выше головы,
Услышу грозный рев травы,
Дерев тревожное рычанье.
Но им ответит шепот льва,
И волка тихие слова,
Гиены ласковая тайна.

И там умру я поутру,
И выйду, и слова сотру,
Омою тело камнепадом.
Гадюка с крыльями стрижа
Промчится, по воде шурша,
И запоет, в лицо мне глядя.

Глаза закрою я, прозрев,
И вдруг пойму, как нежен лев,
Прекрасен гриф, и ящер ласков...

Там будешь ты, любви полна:
Тиха, внимательна, нежна...
Бывает и такая маска.

Львица

1.

С тобой недостижим покой.
Ты львица с быстрою рукой:
Ласкаешь и немедля ранишь.
И даже если загрузишь,
Вздохнешь, встряхнешься и летишь,
Не замолчишь и не устанешь.
Заденет горькая стрела —
Мгновенье, и сгорит дотла,
И зарубцуются все раны.
В глазах твоих все тот же свет,
Минувших лет как будто нет,
И только мир — святой и странный.
И я бояться не привык,
Когда раздастся львиный рык.

2.

И как же мало было шансов...
Мы были — вне, мы были — врозь,
Когда опомнившись, пространство,
Со временем пересеклось,
В такую закрутив пружину
И день, и ночь, и каждый год.

Порою думал: «Быть бы живу...»
Но чёрт горящих не берет!

Моя звезда почти погасла,
Но я насытиться готов
Виденьем Яблочного Спаса
И горьким запахом плодов.
Лети, неистовая львица!
Ты там, где страсть, и жар, и бой...
Позволь мне тихо прислониться
К огню, плененному тобой.

Попытка

Пора, ребята, уходить,
Ломать традиции и копья,
Смотреть не надо исподлобья
На то, как рвется ваша нить.
Была попытка — хороша,
Но развалились эти дроги,
И плачет, не найдя дороги,
Моя еврейская душа.
Ей Ты, кто выше, помоги
И приласкай сухой ладошкой,
Пускай, как будто понарошку,
Пройдет безмерные круги.
Потом, хотя бы на чуть-чуть,
Позволь вернуться, воплотиться,
Ну, пусть собакой, или птицей
Пройти неуловимый путь —
Руки ее припомнить власть,
Щеки коснуться — будто ветер,
Узнать, почувствовать, отметить...
А после — навсегда пропасть.
Она услышит птичий грай,
И след петляющий заметит,
И скажет заклинанья эти:
«Не умирай, не умирай...»

Страсть

В пространстве первородного греха
Запретный плод горчит намного слаще.

В мою берлогу ты войдешь, легка,
Пройдя сквозь время малостью летящей.
И рук, и губ коснешься, словно свет
Блуждающей звезды. Одежду скинув,
С меня сдерешь слепую толщу лет,
Которая мою согнула спину.

Я задохнусь, втянув твоих цветов
Неведомый, недостижимый запах.
Как зверь, я буду в этот час готов
Ползти к тебе на онемевших лапах...

Потом ты засмеешься, дверь закрыв,
И я умру. Вернешься — снова счастье,
Когда стремительно столкнется твой порыв
С моею мерной и неспешной страстью.

Поэт и птицы

Эдуарду Багрицкому

1.

Удивительный поэт
Жил в согласье с мирозданием,
И стихи без опоздания
Выпускал как пташек в свет.
Но пернатые стихи
О таком высоком пели,
Что глухие свирепели
И готовили силки.
И они ловили птах,
Чтобы жили птицы в клетках,
Чтобы песни были редки,
Как брожение в умах.

Грустно крылья опустив,
Воду выпив из корытца,
Забывали эти птицы
Свой божественный мотив.
Наступала тишина,
И привычно, как мычанье,
Было общее отчаянье
Без поэзии и сна.

Но наутро — как тут быть? —
Вновь обрушивались песни,
И хоть лопни ты, хоть тресни,
Было всех не изловить.
Потому что жил поэт
С мирозданием в согласье,
И стихи свои, к несчастью,
Выпускал как пташек в свет.
И поэтому стихов,
И пернатых, и безбожных,
И не очень осторожных
Было больше, чем силков.

2.

Мы трезвостью ума хранимы,
И горьким папиросным дымом
Омыты наши вечера.
Верны дыхание и слово,
И трезвый разум птицелова
Смиряет бешенство пера.

Так будет ныне и вовеки,
И слезы не омоют веки,
И не швырнет на землю боль.

Полустихи и полуправда,
И это наше полуправо
На давнюю полулюбовь.

Но все же как нам снится часто
Один глоток шального счастья,
И эта вещая пора,
Когда безумны станем снова,
И жаркий трепет птицелова
Коснется нашего пера.

3.

Если был я никем,
Если буду никак,
Если бросит клыкастая стая,
Я уйду насовсем,
Как разжатый кулак,
На зюйд-вест навсегда улетаю.

А за мной десять птиц,
Не замыслив беды,
Золотыми крылами замашут.
И не будет границ,
Ни земли, ни воды,
Только братство пернатое наше.

И страна не видна,
И струна не поет,
Все, что было — запутано снами.
Если завтра война,
Если завтра в поход...
Вы простите, но это не с нами.

Старый город (Рене Магритт, «Ностальгия»)

Кошачий смысл не льву ли ясен,
Когда разляжется, прекрасен,
Надолго и надежно сыт.
А фрачный ангел просто рядом,
Чтобы скользнуть небрежным взглядом,
Когда положим на весы
Все стыдные и злые мысли.

...Пилат старательно умылся.
Его здесь нет. И не о нем
Молился ангел чернокрылый,
Не перед ним гордился силой
Лев, перекрещенный огнем.

Слепая тяжесть парашюта
Нас убедит, что песня спета,
Что наше время истекло.
А город, скрывшийся в тумане,
Не нас настигнет и обманет,
Разбив зеркальное стекло.

Нам фрачный ангел не поможет:
Застыл навеки с постной рожей

Там, где течет остаток дня,
Где величаво и беспечно
Он охраняет город вечный —
Лев, не боящийся огня.

Зеленая волна

Идет зеленая волна,
В мои глаза — до края.
И что-то, наподобье сна,
Меня в себя вбирает.

Земля уходит из-под ног,
И становлюсь я меньше.
И говорит: «Привет, сынок»
Отец, давно умерший.

И, словно детский петушок,
Во рту секунды тают,
И так без боли хорошо,
Как вовсе не бывает.

Но удержаться я не смог —
Лицо собака лижет,
И возвращения порог
Становится все ближе.
Я принимаю эту боль —
Пусть ноет звуком альта...
Не беспокойся. Я с тобой.
Давай вставать с асфальта.

Миф о красных деревьях

К реке шагали красные деревья,
К воде спешили красные деревья,
По шагу в год — но все же шли деревья,
Надеясь, что когда-то добредут.
А впереди лубочная деревня,
Красивая и прочная деревня,
Волшебная и хлебная деревня
Ждала, когда поближе подойдут.

Точила топоры она и пилы,
Железами по воздуху лупила,
И удалую пробовала силу,
Которая всегда одержит верх.
Деревья же не ведали испуга,
И, землю бороздя подобно плугу,
Поддерживая бережно друг друга,
Брели они к воде за веком век.

К реке спустились красные деревья,
К воде припали красные деревья...
Навстречу вышла целая деревня
И предъявила древние права:
На то они на свете — дровосеки,
Зимой хотят тепла и скот, и семьи,

И вот срубили красные деревья
На красные прекрасные дрова.

Кораблики из них строгали дети,
И, у огня играя, грелись дети,
И в том, что нет чудес на белом свете,
Не видели особенной беды.
А корабли куда-то плыли сами,
Бумажными мотая парусами,
И вздрагивали красными бортами,
Достигнувшие все-таки воды.

* * *

И будет: утро зазвенит,
Вернусь, и станет все иначе,
И запоздалая удача
Крылом осенним осенит.
И я поверю, что не зря...
Не зря... не зря...
И буду молод,
И на меня обрушит город
Последний холод ноября.

Войду, как прежде, налегке,
Случится то, что день назначит,
И запоздалая удача
Крылом ударит по щеке.

Судьи

Москва не строит корабли,
Она обламывает судьбы.
А где-то дышит край земли,
И там живут седые судьи.
Они вывешивают сны,
Мечты и ветры для просушки,
Веревку тянут от сосны
До дня прощанья с жизнью сущей.
И, взглядываясь в окоем,
Все о своем бормочут мерно,
И видят: мы с тобой вдвоем
Живем среди беды и скверны.
Надолго ли моей брони —
Тончающей — на это хватит?
Вечерний луч в наш мир проник
И сник в застывшей серой вате
Осенних дней.

Гони коней

Оранжевого листопада
В сухой костер опавших дней,
Туда, куда смотреть не надо.

Охапки листьев и грехов
В огонь бросаю легкой данью
И дым их оскорбит дыхание
Неколебимых стариков.

Последний пират

П. Б.

Дом, как парус, под ветром гудит,
только нет нам пути по волнам,
Пусть корсаром глядит мой сосед,
на балконе дымя папирсой.
Не сорваться с насиженных мест,
не отправиться в плаванье нам,
И в последний кровавый набег
не вести одичавших матросов.

На приколе наш дом, наш фрегат,
и крепки, тяжелы якоря.
Золотая серьга и зазубренный нож
в дальнем ящике скрыты.
Но глаза наших женщин в ночи
как глаза полонянок горят,
Полонянок прекрасных, в далеком набеге
добытых.

Из цикла «Этюды для Юли»

* * *

Держусь за жизнь, за пыль ее и стыд,
За дождь, который утром моросит,
За бесконечность медленного дня,
За друга, позабывшего меня.

* * *

В реанимации окно,
Земли не видно, неба — тоже,
И только дерево одно
На старое пальто похоже.
В стекло колотит рукавом,
Ко мне старается пробиться...
И крики удивленной птицы
Небыстро гаснут за окном.

* * *

Я был крылат, и в затыжном прыжке
Гадал по солнцу, словно по руке.
И был я счастлив несколько минут.
Потом, увы, раскрылся парашют.

* * *

«Если б молодость знала, если б старость могла...»
Говорим мы устало, выгорая дотла.
Никуда же не деться: уходя по кривой,
Мы спасаемся в детстве, мы впадаем в него.

* * *

Жить медленно. Осталось мало мигов.
Придумывать, что смерти не знаком.
Прочь выходить — из дома, тела, книги,
И прозой говорить, а не стихом.

* * *

Через мосты или подмостки,
Через беду и баловство...
Рисую жизнь свою на воске
И отдаю огню его.
Картины ада или рая,
В печи оплавятся, сгорая,
А я не нужен сам себе.

Четвертый ангел мне сыграет
На золотой своей трубе.

* * *

Я закопал свою судьбу
В российской вязкой глубине,
И даже вспомнить не могу,
Что в юности мечталось мне.

Язык здесь груб, и разум слеп,
Душа во сне, и в глотках пиво...
Но на полях неторопливо
Среди бурьяна зреет хлеб.

* * *

В этой невообразимой дали,
Не подвластной вашему Дали,
Мы с тобой такое повидали
Мы в такое ляпались, влетали —
Выживали и перемогли.
И давно, дружище, мы не дети,
Но легли под старо-новый гимн
Мостиком меж двух тысячелетий,
По которому идти другим.

Черновик

Мне иногда так страшно жить,
И я завидую уснувшим,
Минувшим, искрой промелькнувшим,
Успевшим голову сложить.
И я боюсь черновика,
Потерь, любви, удара в спину,
Земли, которую покину
На вечность, а не на века.
Я снова не смыкаю глаз
Наедине с листом бумаги,
Пока бравады и отваги
И радости не пробил час.
Останется, наверно, стыд
За этот страх, за слабость эту,
Когда восход пройдет по свету
И жить мне заново велит.

Осеннее

Рассвет покажется закатом,
Когда ненастный день нагрянет.
И небо, облаком залатано,
Над головой моею встанет.
Кому я в ноги упаду,
Кому судьбу мою доверю,
Когда вода колотит в двери
И гонит новую беду?
Уйду я в дождь, и в дрожь, и в город,
И, горд осенним колдовством,
Увижу павших листьев горы,
Укрытые слепым дождем.
Моя беда для них легка...
Прощаюсь с ней.
Не слишком смело
Коснется их моя рука,
Смущенная свершенным делом.

А дворник, местный Прометей,
Тая огонь в сухой ладони,
Уронит искру, и утонет
Моя беда в бездонной, в ней.
Я календарь сожгу дотла,
Как встарь, течение дней нарушу,
И снова душу обнаружу
Там, где утеряна была.

Зимнее

Зима шатается потерянно
По улицам твоим заснеженным,
Земля измятою постелью
Пытается казаться свежей.

И парашютами опавшими,
К земле протягивая стропы,
Пытаются казаться старшими
Совсем не страшные сугробы.

И ты, в своем домашнем таянье,
Вбежавшая с мороза в комнату,
Пытаешься казаться тайною —
Чужая и давно знакомая.

И в эту зиму, в этот час ее
За вымерзшим окном маяча,
Пытается казаться счастьем
Обыкновенная удача.

Река Амур, 1968 год

Наутро после рукопашной
Не мог я даже воду пить.
О Боже, как же было страшно!
Но невозможно отступить.

Я не запомню эти лица.
Кипит вода в большой реке.
Но, знаю, вечно будет сниться
Кровь на штыке, кровь на штыке...

То ли белым, то ли красным

*А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.*

Максимилиан Волошин

Лава.
Бешеные кони.
И травы
Запахом погони.

Было трудно, наверно, удары плеча
Наносить, отвращая чело, и не видеть
Капли крови на гриве коня. И кричать,
Не успев полюбить или возненавидеть.
А потери — потом. Пот и совесть — потом
В горле горечь — потом. Все — потом,
а пока что
Шашка в небе — винтом. Хриплым
выдыхом — стон,
И хрустящим хребтом распоследняя скачка.
Было мало их. Падали, землю круша,
И в последнем ударе тянулись клинками.
И, уже не дыша, свой не сделанный шаг

Проклинали, как в спину врубившийся
камень.

И лежали, и вновь задышалась земля,
Обезумевшей бабой металась и выла.
И от крови пьянели другие живые,
Недорубленной песней степями пыля.
И бросали клинки, и бросались к земле,
И на гривы коней, одичавших от боя.
И седой головой понимали — такое!
В восемнадцать своих перечеркнутых лет.
И, я знаю, до смерти кричали во сне,
В горизонт посылая клинки и коней.

1969 г.

Попытка выжить

...и взгляда, проникающего сквозь.

И. Бродский

1.

И взгляда, проникающего сквозь,
И вдоха, наполняющего вечность,
Хватает, чтобы вынырнуть беспечность,
И рассказать, что время удалось.
Пусть кровь стекает наземь из души,
Пусть мелочи выламывают руки,
Мы выдюжим в замедленной разлуке,
И будут наши встречи хороши.
Минуты разделяя на века,
Из капли добывая океаны,
Царапая ладони о весло,
Поймем: полоска света далека,
Попытки наши выжить — непрестанны,
Но пылью лет дорогу занесло.

2.

Я буду ощущать себя всегда
Немыслимым и жалобным подобьем.
И пусть глядят мне в спину исподлобья
Мои невозмутимые года.
Без смысла нет причины больше жить,

Но где его искать и чем приветить,
Когда осталось мне в минуты эти
Заклеить мир и окна заложить.
Но рвет бумагу неподвластный свет,
Но греет душу солнечное чудо,
Добытое без боли и побед.
Я был здесь, и в траве затерян след,
Куда ушел и где я дальше буду...
Я не даю вам права на ответ.

3.

В ней есть любовь и неподдельна грусть —
Мне говорили об одной девице.
И мужиков восторженные лица
За ней стекали, плавясь. Ну и пусть
Ее весенний взгляд — поверх голов
Скользил, отдельно от влюбленной стаи,
И осекался каждый острослов,
Его, как искру жгучую, встречая,

Но я-то знал, что в каменной ночи
Она скользнет, как беглая богиня,
В мои ладони и к моим губам,
И мир ошеломленный замолчит,
Когда она ветвями руки вскинет,
И платье упадет к ее ногам...

4.

Тревожен сумрак поутру.
По-прежнему так много знача,
Как смутный говор на ветру,
Случайной кажется удача.
И, всем привычкам вопреки,
Щеки, как встарь, прикосновенье,
Мгновенье, вечер, откровенье
И столкновение руки
С твоей рукой. Слова туманны,
Слова случайны, речи странны,
Рассвета отзвук грозовой
(Святое таинство обмана)
Как заголовок над главой
Давно забытого романа.

5.

Пластинка добела раскалена
И, как часы, вызванивает полночь.
Не надо нам ни вспоминать, ни помнить,
Ни добиваться, чья это вина,
Что все вино мы выпили до дна,
Что ночь перелистали до рассвета,
Что были мы безжалостны, и это
Нас по заслуге не лишило сна.
Но музыка — тишайшая беда

Нас навсегда залечит, и следа,
И шрама не оставит, и сомненья,
И потому мы перед ней в долгу,
И надо оглянуться на бегу,
И, может, опуститься на колени.

Доктору Гумис

Милый доктор,
я очень и очень здоров,
хвори спрятали (временно) клещи,
усмешки и жала.

Я-то думал: конец,
а оно, понимаешь, начало
Быстрой жизни моей,
полной мелко наломанных дров.

Этим утром мороз.
Воздух пахнет бензином и кожей
чудной женщины, гнавшей меня
на свободу вашей.
Но сложу я костер из того, что не сделал,
не прожил,
пусть погреемся здесь
вся компания местных бомжей.

Паук

Никто не любит паука.
Его шаги всегда упруги,
Его слова всегда весомы,
И мухи падают в испуге,
Когда проходит он по дому.
И вслед за ним идет тоска.

А он — любитель вин и книг,
Бетховена и Ренессанса,
Ночами сочиняет стансы,
Не прерывая ни на миг
Души высокую работу.
Но — метко прозван Живоглотом...

Бросая взгляд через плечо—
Не подкрадется ли супруга,
Стихи он шепчет горячо
Поэтов пушкинского круга.
Без сна шагает до зари,
А голод гложет изнутри.

Все просто, мудро, на века:
В тенетах спутанная муха,
И ждет жена, не дашь ли маху,
Извечное томленье духа,
Идешь к обеду — как на плаху...

Никто не любит паука!

Из России с любовью

В этой неподвижной сини
Бьют под дых колокола.
На задворках у России
Хуже нет — мои дела.

Как я бился, как я рвался,
Чтоб не плоше сыновей...
Начудил, навоевался,
В землю набросал кровей.

Не ведет она и бровью,
Только небо все синей.
Безответные любви,
Говорят, всего сильней.

Легенда

*И собрал Евпатий Коловрат дружину малую,
пахарей, меча не державших, и погнался
вослед безбожного царя, и едва нагнали его
в земле Суздальской, и напали на станы батыевы,
и полегли, земли своей не посрамив.*

Летопись.

Закат, и церковь Покрова
В крови по кровлю, и трава
Горячим ветром перевита.
Шеломов алая стена,
И у степного скакуна
Окровавленные копыта.
Как эту память пережить?
Стрела батыева струною
Звонит, как будто надо мною
Не уставая ворожить.
Чужое время гонит нас,
Не принимает поле брани,
Иные пахари телами
Его прикроют в горький час.
Их пашня... Вытопчут ее,
Здесь если и взойдет — железо.
А солнце падает за лесом,

Как юный воин на копье.
В тугой кулак не сжать руки
И от земли не оторваться...
Над ними скакуны промчатся,
Раскосые, как седоки.
У этих воинов права
На бешенство, на боль и веру.
Заря тринадцатого века
Окрасит церковь Покрова.

Они лежат, укрыты сном,
И в этом сне увидят снова,
Что будет Поле Куликово
Полтава и Бородино,
Что вспять покатится набег,
Разлившись, Нерль омоет раны,
И кровь их унесет в желанный,
В иной, непобежденный век.
Ворвется в летопись и стих,
Вонзится памятью о них,
О бешенстве, любви и боли.

Сквозь их мечи растет трава,
У светлой церкви Покрова,
На древнем, как легенда, поле.

* * *

Душа наладилась в дорогу.
Я умер. Плоть моя тиха.
В пространстве тают понемногу
Слова последнего стиха.
Грехи, привязанности, страхи
Уже не тукают в груди.
Не рву я ворот у рубахи,
Не рвусь за тем, кто впереди.
Ни за кого я не в ответе,
Уже не должен никому.
Я тихо смылся на рассвете,
Тюрьму оставив и суму.
Перегоняя птичью стаю,
Кричу я вам издалека:
Как хорошо, я улетаю,
Пока, родимые, пока!
Но слышу я — взывает кто-то
Иерихонскую трубой:
Пора, бродяга, на работу!
Вставай. Иди. И Бог с тобой.

Бессонница

Позавидуют везучие
(Не стремился, не ловчил),
Все часы ночные, лучшие,
Я в подарок получил.
В этот миг, и в час серебряный,
Так, что кругом голова,
Сердце тукало за ребрами:
Раз-и, два-и, раз и два!
Обреченное, косматое,
До скончанья быть во мне,
И мои часы отматывать
В этой внутренней тюрьме.
Я ж, обласканный бессонницей,
Задыхаясь и кляня,
Понимал, что встало солнце
Специально для меня.
Над домами, и над липами,
Над туманом на ветру...
Как пацан, я тихо всхлипывал,
Засыпая поутру.

9 мая

Бутылку водки покупаю
последнему из стариков.
Недодала страна скупая
остаткам выбитых полков.
Им жизнь такая в сердце торкнет,
судьбу повыжгло по пути...
Дают ненужные «семерки»,
чтоб до могилы довести...

Ныряющий с моста

Ныряющий с моста бескрыл, печален, вечен.
Взлетающий из вод — хитер и серебрист.
И встретятся ль они, когда остынет вечер,
Когда забьется день, как облетевший лист?
Ныряющий с моста, крича, протянет руки,
Но унесет его резины жадной жгут,
Туда, где у воды дебелие старухи
Намокшее белье ладонями жуют.
Взлетающий из вод без видимой причины
Застынет, закричит, затихнет и умрет:
Его стреляют влет солидные мужчины,
Там, где летит к земле горящий вертолет,
Где непослушный винт закатом перерезан,
Где не узнаешь зло, и не найдешь добро...
Ныряющий с моста стоит, до боли трезвый,
И смотрит, как река уносит серебро.

Далеко під Полтавою

Лубны, Миргород, Диканька — ты попробуй, чудик,
встань-ка на забытые следы.
Девочкой была бабуля, и степные ветры дули,
и стихали у воды.
Принимала речка Сула все, что смыло и уснуло,
уносила до Дніпра —
Все испуганные плачи, все девчачьи неудачи,
все побегі со двора...
Лубны злые, золотые, в прежнем времени застыли,
словно муха в янтаре,
Вместе с криками погрома, вместе с ликами у дома,
и с убитым во дворе.
Миргород, Диканька, Лубны... Снова улицы
безлюдны,
только ходит в тишине
Николай Василич Гоголь — вдоль по улице убогой,
в страшном бабушкином сне.

Яблоки

А этот сторож, полный мата.
А этот выстрел, солью, вслед...
И как же драпал я, ребята,
Из тех садов, которых нет,
Как будто время их слизнуло —
Там, где хрущевки, пьянь и дрянь...

И сторож, старый и сутулый
Зачем-то встал в такую рань!
...Пиджак, медаль, протез скрипучий —
Он, суетливо семеня,
Ругая темь, себя и случай,
В тазу отмачивал меня.
И пусть я подвывал от боли
(Кто это получал, поймет) —
Грыз яблоко, назло той соли,
Большое, сладкое как мед.

Я уходил, горели уши,
И все же шел не налегке:
Лежали яблоки и груши
В моем тяжелом рюкзаке.

Следы на пыли

1.

В пустом пространстве этого стиха
Вдруг возникает тоненькая нота —
Как будто ты стоишь за поворотом
И я тебя предчувствую. Греха
В том не найти. Предчувствие обманет.
Тебя за поворотом просто нет.
И без тебя в моей строке настанет
Горячий и стремительный рассвет
И без тебя мне будет губы жечь
Обманчивая ласковая речь,
Чужая кожа остановит руки,
И смех чужой, и платье, и меха...
Всё без тебя. Всё без тебя, в разлуке,
В пространстве нерожденного стиха.

2.

А женщина чертовски хороша!
Богата — за душою ни гроша.
И, как стихи, она непоправима,
И, как стихия, пронесется мимо,
И скажет, усмехнувшись: «Я хандрю...
Уйду. А может — вечность подарю.

И будет вечность. Или — будет вечер,
И сдержанность неторопливой речи,
Старинной музыки тоска и ворожба.
Почти вражда. Нечаянность. Судьба...
Уйдёт. Припомню все, едва дыша.
А женщина — чертовски хороша!

3.

Наши долгие длинноногие годы промчались,
следами на пыли.
А что же осталось, не песком на подошвах —
в душе, в тайнике заветном?
Какие богатства, какие золотые россыпи
мы накопили,
Или только одному научились — тянуться
да вглядываться,
вслед за памятью,
за бегущей водой, за ветром?
Мы всё ещё кажемся сами себе неисправимо
молодыми,
И, в случае чего, возможно, сумеем начать сначала.
Много прошедшие, знающие — поверим ли,
что стали остывшими и седыми...
Но как же сделать, чтобы ночами душа
не кричала?

А вдруг однажды, в судный час, когда спросят:
«Ну, как прожили?» —
Перелистав наши неимоверно многочисленные
годы, месяцы, дни,
Мы испугаемся, так ясно увидев: чужие...
И Господу в ноги бросимся: «Соедини!»

Планета Снегирь

Планета называется Снегирь.
Вокруг двух солнц — Урала и Кореи
Она несется, плаваясь и шалея,
Вдоль по Оби, и в круге Енисея,
Во всю свою немыслимую ширь.
Над ней два спутника с повадками зверей
И рыба Бийск с раскосыми глазами,
Шаманы с расписными голосами
И бубнами из шкур нетопырей
Уходят в подпространство, как в запой.

Я там делился спиртом и тоской
И гнус кормил в тайге под Верхоянском,
Где вспарывает белое пространство
Над каждой переписанной строкой
Упряжка золотых моих собак.

Планета называется Не-Враг.
Сказал бы — Друг, но помню эту стужу,
И третий страх, просящийся наружу,
Когда у вездехода сорван трак.

Он третий, и последний. Первых два
Мне помогла осилить голова.

Планета по прозвищу Снегирь,
С тобой не совпадет моя орбита.
И розовые перья все побиты,
И медный полюс, вытертый до дыр...

Мне бы уехать. Завтра же. В Сибирь...

Где

за городишками нелепыми,
за лесом, полным кутерьмы,
и за горой, кудряво слепленной,
куда не ходим даже мы,
там, где под небом обездвиженным
земля пуглива и тверда,
где вся трава под корень выжжена
и высушена вся вода,
в тюрьме, давным-давно разрушенной,
в зверинце, брошенном давно,
в раю, не заселенном душами,
в краю, где ни одно окно
огнем приветливым не теплится,
где не пугают шум и гам,
не видно даже в темноте лица,
не слышно, что провозят вам,
здесь, за порогом и за маревом,
где век — за день, и час — за год,
вчера сошедшего с ума его
никто сегодня не найдет...

Город, Башмачкин...

серой шинелью седого заката
то ли задушен, а то ли укрыт,
дышит простужено город горбатый,
снегом забиты дворы.
город, Башмачкин, последний из крайних,
кем ты ограблен, унижен и смят,
что тебя мучает, гложет и ранит —
в этой шинели до пят.
посвист разбойный ночного трамвая,
поступь железных твоих патрулей,
город, Башмачкин, они не играют,
прячься скорее во мгле.
там не настигнут тебя, не разрушат,
жди, затаись, помолившись за нас...

может, утешит убитую душу
розовый утренний час!

Прощание с Арахной

Арахна, слепая сестра, паутину трясущая жадно.
Твой голод терзает и жжет, но пусты
обветшалые сети
Насмешлив твой сумрачный страх,
и его отвратительно жало.
И мох сквозь тебя прорастет, ты умрешь,
и никто не заметит.

Вот так безотказная старость отрежет пути
отступленья,
Презреньем обдаст, пролетая, никчемная
юная муха.
Дожив до немислимых ста,
раствориться под ангелов пенье?
Прочитаны эти лета. Я увижу величие духа —

Как ты, отпустив якоря,
в свой последний полет оборвешься.
Поймай и вдохни пустоту, в этом небе
уже незаметна.
Высокий обрыв сентября... Я скажу
на прощание вот что:
Лети, умирай на лету, стань покоем, закатом
и ветром!

Раковина

Старый старый интеллигент
В раковине своих потерь
Намозоливший язык преподаванием уходящих
наук

Любящий музыку Рахманинова
и свою безжалостную страну
Укрытый хитином морщин и водорослями се-
дой бороды

А там внутри
Нежность и незащитность
И выращенная за всю жизнь мерцающая
драгоценность

Как он боится что его раскроют
Как он боится что его не найдут

Кто скажет
Что происходит с жемчужиной
Когда моллюск умирает

* * *

А музыка была вначале!
Она звучала в том саду.
Ее порой не замечали
Как ветер, сон или звезду.
Она была и змей, и древо,
Катился яблоком мотив...
Его протягивала Ева
Неосторожно надкусив.

Ветер

Когда начинается северный ветер, держи паруса,
Несет он не только тоску, и песок,

и заточенных птиц.

Приходит чешуйчатый зверь, и грызет

на гремящих часах

Минутные острые стрелки, и падают

прочерки лиц.

Когда начинается западный ветер,

пей яблочный сок.

Дави эти желтые, красные, в добрые бочки налей.

Поднимется пена от сидра, и голос твой

будет высок,

Тогда золоченые кубки достань, и расставь на столе.

И жди: если ветер с востока обрушится

ржаньем коней,

Наполни разверстые пасти, и заново кайся, и вот

Дождешься ты южного ветра. Тогда ни о чем

не жалея:

Над миром и местом раскосое солнце взойдет.

Слово

Эта вечная наша надсада:
Разговоры, как через стекло,
И последнее слово мне надо
Громко выкрикнуть, чтобы дошло.
Так бывает порой между нами
На вокзале, на выдохе дня —
Ты потешно разводишь руками
И не хочешь услышать меня.
И стремительна ты, и готова
К этой новой, отдельной судьбе.
И мое задыхается слово,
И пути не находит к тебе.

От порога до побега...

Алексею Ивантеру

От порога до порога, от побега до побега
Хороша моя дорога, не видна моя победа.
Путь от храма до притона, жуть от хохота
до стога —
Только тихая протока остановит непреклонно.
Нет лекарства от ухода кроме совести укола.
Жаль, что вывелась порода, эту помнящая школу.
Можно бóсыми по снегу, можно с криком:
«Стыдно, братцы...»
От порога до побега главное — с крюка
сорваться!
В мире шатком, в мире гулком —
опрокинутые лица...
А приходишь — на могилку, поклониться,
поклониться.

Ноябрь

Под кожей стынь, подлесок рыж,
Дышать бы льдом — да голос ломок.
Не настелили мы соломок,
Вываливаясь из жары.
На лужах — старческих морщин
Следы от ахнувших морозов,
И цвет носов здоров и розов
У шумных женщин и мужчин.
Тяжелый снег придет засим.
Пока же, в графике заката,
Собачий сын бежит куда-то
На фоне зябнущих осин.

Другая вода

Кривые дорожки на горькой воде
Уводят незнамо куда.
И быть бы беде, но неведомо где
Бывает другая вода.
Ни страхом, ни ложью не пахнет она,
Я лучше не видывал вод.
И нет у неё ни причала, ни дна,
Где прошлый покоится флот.
Поскольку исчезли ловцы и крюки,
Здесь рыбы водиться могли б,
Но в бездне морской или в водах реки
Вовек не найдете вы рыб.
А ветер томится своей суетой
И гаснет, о камни шурша.
И только молчит над остывшей водой
Неспящая ваша душа.

Мой брат

Мой брат бородат, преисполнен огня
И радостной веры.
Возможно, мой брат осуждает меня,
Надеюсь, что в меру.
Он беден, и ноша его велика:
Всевышний да дети.
В его бороде утонули века,
В глазах его ветер.
Он там, где ракеты летят во дворы,
Он вместе со всеми.
Лежат между нами века и миры,
Пространство и время.
Молись же, молись, чтобы здесь, на звезде,
Огни не погасли...
Приехал ко мне на один только день —
Я плачу, я счастлив.
Его поджидают судьба и хамсин,
Пути и потери.
Что делать, так вышло, он Божий хасид,
И ноша по вере.

А я, стихотворец, вовеки неправ,
И верю не слишком...
Печаль моя, свет мой, возлюбленный рав,
Мой младший братишка.

Буратиновое

Серые стружки на голове,
Седой Буратино в сырой траве,
Стакан в трухлявой его руке,
И холмик с табличкой невдалеке.
Надпись, понятная и воробью:
«Папа Карло, я слезы лью!»
В траву бросает пустой стакан,
Домой шагает, как истукан,
Мальвина с потрескавшимся лицом
Ругает болваном и подлецом.
Старая крыса, последний друг,
В углу доедает последний лук.
А на стене, до тоски знаком,
Коврик с печуркой и котелком.

В старом пруду, в глубине, на дне,
Ключик лежит, и дрожит во сне.
Здесь у него ни судьбы, ни сил,
В мертвой воде не найти Тортил.

Сказка ли это? Сюжет вверх дном.
Время течет за моим окном.

Пегас

Мой Пегас, дружище старый,
Как слабы твои следы,
Как ты топаешь устало
От звезды и до звезды.
Вся спина твоя побита
Раздобревшим седоком,
Не подкованы копыта,
В сердце боль, и в горле ком.
Но под стон валторны мятой,
Горькой старости назло,
Видишь ты, как жеребята
Снова встали на крыло.
Вот они в избытке силы,
В белом свете чуждых лун,
Непростительно красивы,
Собираются в табун.
Кости древние занули,
Но, последней песне рад,
Ты срываешься за ними
В опрокинутый закат.

* * *

От моей судьбы цветастой
Не осталось даже дыма.
Как по миру ты ни шастай,
Но пора прибиться к дому,
Чтобы тлела у забора
Бузина неопалима,
Чтобы пели птицы хором
Непонятное другому...

Петр Баренбойм,
Президент Флорентийского общества

Флоренция в России

Тоскана — область Италии, с которой связано очень много в итальянской и мировой поэзии. На современном флаге Тосканы совершенно не случайно красуется Пегас. Данте, Петрарка, и многие другие великие поэты сделали эту легендарную землю настолько знаменитой, что для того, чтобы проникнуться ее значением и поддаться ее поэтическому очарованию, совсем необязательно видеть ее. То же самое, но с еще большим основанием можно сказать о столице Тосканы, знаменитейшей Флоренции, сосредоточившей у себя, по подсчетам специалистов, почти пятую часть всех сокровищ мирового искусства. Кроме стихов, основанных на непосредственных впечатлениях от поездки во Флоренцию и Тоскану, есть еще воображаемая, но от этого не менее важная тема: «литературная Тоскана, литературная Флоренция».

Автор этой небольшой книги Ян Бруштейн никогда не был во Флоренции (по теперешнему

состоянию его здоровья врачи не рекомендуют ставшие не так уж давно возможными перелеты), и его стихи относятся к этому направлению русской поэзии, возглавляемому Мандельштамом и Цветаевой. Первый писал в воронежской ссылке о «всечеловеческих холмах Тосканы». Флорентийская мечта характерна для Мандельштама, который на самом деле был в Италии эпизодически в молодости, и тогда же во Флоренции совсем мельком. Для него «хождение во Флоренцию» стало не воспоминанием о реальном городе, а движением души. В период гонений поэт спасался в воображаемой Тоскане.

«Заблудился я в небе, — что делать?

Тот, кому оно близко, ответь!

.....

Не разнять меня с жизнью, — ей снится

Убивать и сейчас же ласкать,

Чтобы в уши, в глаза и глазницы

Флорентийская била тоска».

Мандельштам говорил по другому поводу о «тоске по мировой культуре». Это слово многие подхватили и до сих пор пишут и говорят о «тоске о Флоренции». Думаю, этому способствовали

длинные советские десятилетия, когда о поездке во Флоренцию нельзя было и подумать, почему многим казалось, что можно только тосковать. Не заглядывая в Даля, скажу все же, что «тоска» бывает более всего о чем-то недостижимом, невозможном, а «мечта» — это стремление к тому, что осуществимо (если повезет) и прекрасно. Правильнее сегодня говорить не о тоске, а о флорентийской мечте, которая существует отчасти независимо от реальной сегодняшней Флоренции и является самоценной как у Бруштейна в этой книге:

«Здесь воздух так вкусен, бездымен и чист,
Я вижу, как время свивается в узел,
И как пролетают усталые музы
К последним поэтам, не спящим в ночи.
Флоренция словно спасательный круг
В летальной борьбе между болью и светом.
А кто победит... я узнаю об этом
В той жизни, где снова мы вступим в игру».

Николай Бердяев писал: «Для многих русских, как и англичан, Италия была мечтой... Безрадостность русской жизни, отсутствие в ней пластической красоты доводит нашу влюбленность в Италию до крайнего напряжения... Русская душа

не дерзает вольно творить красоту, ощущает как грех творческую избыточность... Русская тоска по Италии — творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радости, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души». Интересно отметить как «мечта» по ходу рассуждений Бердяева все-таки превращается в «тоску» — в неверие в осуществимость мечты. Возможно, такого рода смирение и неверие в собственные силы стало и остается проблемой интеллектуальной России по сегодняшний день. Если Данте дерзнул спуститься в Ад, а Боттичелли и Микеланджело бросали вызов небу и природе, то Бердяев не верит в возможность подобного в России. А ведь, судя по сегодняшней ситуации, без Возрождения или хотя бы порыва к нему, без «вольной избыточности сил» исторические шансы страны становятся весьма проблематичными.

В этом может быть и заключается высота и напряженность «флорентийской мечты» современной России.

Возможно, такое восприятие утопично, но как справедливо сказал Левис Мумфорд: «Карта Мира, где не изображена Утопия, не заслуживает даже беглого взгляда».

От вершин бердяевской философской мысли легко перейти к поэтическим строкам о «флорентийской мечте», потому что настоящие поэты — это мечтатели, в нескольких строках достигающие вершин искусства. Например, у Пушкина хватало «вольной избыточности сил» и «пластичной красоты», на отсутствие которых жаловался Бердяев. Вот только во Флоренцию его не пустили... Но все равно в Пушкине была частица Данте, а в каждом настоящем русском поэте есть частица Пушкина!

Юная Цветаева в борьбе против желания родственников ее будущего мужа Сергея Эфрона загрузить его университетскими экзаменами с перспективой адвокатской карьеры щебетала в письме к Волошину: «Наслаждаться университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля» Как видим, Италия у нее стоит на первом месте.

Марина Цветаева никогда не была во Флоренции и поэтому ее стих отражает эту российскую настроенность на флорентийскую волну,

«После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг и друг.
Целая радуга — в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг».

Не все знают, что Кремль и многие его знаменитые соборы строились с участием флорентийских архитекторов. Об этом снова Мандельштам в стихотворении, посвященном Цветаевой.

«Не диво ли дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянской и русской душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой».

И другое о Кремле:

«А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах
Играет русское вино».

Сравним с видением соборов в «сумасшедших скалах» тосканских гор, где вместе с этой «неподвижной землей» поэт пьет «христианства холодный горный воздух». Далее вновь Ман-

дельштам называет тосканские скалы «христанскими горами», равнозначными Палестине.

Мы не знаем, интуитивно чувствовал Мандельштам флорентийскую основу архитектуры и росписи кремлевских и других древнерусских соборов, или вообще не думал об этом, когда писал свое знаменитое стихотворение. Может быть, для него само слово «Флоренция» просто ассоциировалось с нежным и эстетичным. «Я один в России работал с голоса», — писал он. И еще он писал о Феодосии, что в старину «город походил не на Геную, гнездо военно-торговых хищников, а скорей на нежную Флоренцию».1

Волошин уже в 1920-ом году как бы перепевает строки об «итальянской душе» Успенского собора, когда пишет:

«Кремль, овеванный сказочной славой,
Встал в парче облачений и риз
Белокаменной и златоглавой
Над скудою закуренных изб.
Отразился в лазоревой ленте,
Развитой по лугам — муравам,
Аристотелем Фиоравенти
На Москве-реке строенный храм».

¹ О. Мандельштам, Проза поэта, Избранное, Вагриус, М., 2000. с. 78.

Болонец Фиораванти заложил основы всей архитектуры Кремля, поэтому нельзя не увидеть на центральной площади древней Болоньи черты и Кремля, и Красной площади, хотя масштаб, конечно, поменьше. Прозвища «Фрязин», которые дали всем последующим итальянским архитекторам Кремля, у него не было.

Русское прозвище «Фрязин», которое дали шести разным итальянским строителям Кремля, скорее всего, происходит от первых ремесленников или живописцев, которых первое известное историкам русское посольство в Италию, два года находившееся во Флоренции (1439-1441 гг.), должно было по традиции того времени привезти из «Фирензе» (как по Итальянски пишется и произносится Флоренция) и которые по традиции того времени представлялись «такой-то из Фирензе». Не случайно летописец поездки в 1439 году во Флоренцию «в Фирензу» монах Симеон пишет, что после двухлетнего пребывания там, глава русского посольства — Митрополит Исидор говорил «по-фряжски». Существуют обоснованные гипотезы, что флорентийцы и до этого в 13-14 веках уже строили и расписывали в Москве,

и слово «Фирензе», как и прозвище «Фрязин» пошли уже оттуда. В любом случае попытки связать это со словами «франк» или «фряг» не имеют никакого научного подтверждения и никакого созвучия со словом «Фрязин». Думается, что флорентийская гипотеза значительно ближе к действительности.

«Фрязин», «фрязь», «фряжский» стали применять к любым итальянцам, в том числе, к архитекторам из других городов Италии, а затем и вообще к любым иностранцам. Так что жители подмосковного Фрязино, наверное, даже не подозревают, что, похоже, напрямую связаны с Флоренцией. И в советском СССР, и в современной России почему-то продолжают «стесняться» итальянского происхождения самых знаменитых соборов того времени.

И здесь особенно хотелось бы выделить стихотворение Яна «Фрязины».

Разгульный их образ имеет оборотную сторону: создав шедевры русской архитектуры, поставив так Колокольню Ивана Великого в Кремле, что французы не смогли ее взорвать, итальянские архитекторы 15-16 веков попадали в Москве в «золотую клетку». Большинство из них не смогли вернуться в Италию, не-

которые посидели в тюрьме, в том числе и за попытки побега. Для Бруштейна, который во флорентийских, как и в большинстве других, стихотворениях все время пытается ответить на подспудный вопрос: нужно ли бороться за наступление Ренессанса в России или это совсем безнадежно, для него образ Фрязиных, похоже, совсем не чужой.

Мандельштамовские стихи воронежского ссыльного периода взывали к Тоскане и в чем-то сродни обращению к флорентийской тематике Яна Бруштейна в его довольно длительный период творчества в городе Иванове. Только наш современник пытается разобраться в своих чувствах, уточнить мотивы своих флорентийских мечтаний.

Все непосредственно флорентийские стихи этого сборника написаны в 2010 году, и тема бушевавших в России пожаров отразилась в них, особенно в сгоревшей дотла роце, отозвавшейся образом дантовской «Роци Чистилица»:

«Роца вырастет, наверно. Там, где будут наши души».

А в другом стихотворении снова «мечта о Тоскане» похожа на дым от этих лесов, «безна-

дежно горящих». Эти леса, как и та роща, при жизни нынешних поколений уже не вырастут. До встречи с ними в Чистилище. Или лучше в Раю? Как сказал другой «флорентиец» Иосиф Бродский, «потому что смерть — это всегда вторая Флоренция с архитектурой Рая».

Для Бруштейна в первом стихотворении тосканского цикла именно отражения деревьев в воде реки Нерли создают образ Флоренции.

«...Пусть ломало меня и по миру таскало,
Но давно измельчали мои корабли,
Только вижу: опять отразилась Тоскана
В золотой предзакатной неспешной Нерли.
Погружу во Флоренцию руки по локоть...
Промелькнула над крышами стайка плотвы...».

Отдельно нужно остановиться на употреблении Бруштейном словосочетания «флорентийская месть» в сильнейшем стихотворении «Туман. Катынь». Здесь тоже мы находим полное соответствие литературной традиции. В послеренессансной Флоренции (начиная с 1520-х годов) 16-17 веков яд, кинжал убийцы, политическая репрессия были уже не редкостью. Екатерина Медичи импортировала это

в Париж, вдохновив печально известную бойню протестантов «Варфоломеевскую ночь». Но есть и еще более сложное объяснение непрямого авторского образа «флорентийская месть». В 1981 году были опубликованы письма Цветаевой к Вишняку под названием «Флорентийские ночи». Здесь корни названия возведены к рассказу Генриха Гейне «Флорентийские ночи». В его новелле девушка умирает от чахотки, и ее возлюбленный просиживает с ней ночи напролет, рассказывая разные истории о своих других увлечениях, полные мистики и почти некрофильские, чтобы облегчить ее последние часы. После ее смерти, к концу второй описанной ночи, герой торопливо уходит. Герой Гейне говорит буквально следующее: «Необычайное влечение к мраморным статуям возникло с тех пор в моей душе, и не далее как нынче утром я ощутил его властную силу. Я возвращался из Лауренцианы, из библиотеки Медичи, и не помню, как очутился в капелле, где этот великолепнейший род Италии построил себе усыпальницу из драгоценных камней и мирно покоится в ней. Целый час простоял я, погруженный в созерцание мраморной женской фигуры, мощное телосложение которой

свидетельствует о том, что сотворена она дерзновенным и могучим гением Микеланджело, меж тем как весь образ оваян такой неземной нежностью, какой обычно не встретишь у этого великого ваятеля. В изваянии этом заключен целый мир грез со всем его затаенным блаженством, ласковый покой осеняет прекрасное тело, умиротворяющий свет луны словно разливается по его жилам... Это «Ночь» — творение Микеланджело Буонарроти. О, как бы хотелось уснуть вечным сном в объятиях этой ночи... ». Это означает, что действие происходит во Флоренции, отсюда и название у Гейне. Но в письмах Цветаевой Флоренция не упоминается. Интересный анализ этих писем дан в книге Мины Полянской «Флорентийские ночи в Берлине», но мы бы хотели обратить здесь внимание, что посмертное издание писем Цветаевой (Геликон, Берлин, 2009 г.) было названо так по совету ее дочери и может означать нечто большее, чем просто совпадение времени переписки с переводом Цветаевой «Флорентийских ночей» Гейне.

Слово «флорентийский» с этих времен может означать в русском языке более сложное понятие, чем просто географическое прилагательное.

тельное, о чем лишний раз напомнила «флорентийская месь» в стихотворении Яна «Туман. Катынь».

* * *

Человечество давно считает Флоренцию своей, и это во многом определяет ее международный характер. Десятки миллионов туристов (в пять раз больше Москвы, и в 20 раз — Петербурга), ежегодно проходят по улицам и музеям этого небольшого города. 25 американских университетов имеют здесь свои летние школы. За последние 150-200 лет большинство наиболее знаменитых обитателей города были не коренные флорентийцы, а иностранцы. Историческую часть Флоренции не тяжело обойти пешком, но здесь сосредоточена пятая часть от общего мирового числа общепризнанных шедевров живописи, скульптуры и архитектуры. Если внимательно осмотреть каждый из них, на знакомство со всеми понадобится несколько лет. Местные психиатры знают «синдром Стендаля», когда бывший молодой офицер наполеоновской армии и будущий писатель почти упал в обморок на пороге собора Санта Кроче. Впрочем, представим слово ему самому: «Поглощенный со-

зерцанием возвышенной красоты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать, осязал ее. Я достиг уже той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал сердцебиение, то, что в Берлине называют нервным приступом: жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть».¹ Стремление за короткий срок осмотреть и оценить все, что есть во Флоренции, оказывается за пределами возможностей обычной человеческой психики. Об этом должен помнить каждый посетитель Флоренции.

Среди 200 тысяч населения Флоренции во второй половине 19 века около 30 тысяч (15%) были англичане и американцы. Уже в те времена в городе были заметные колонии поляков, французов, немцев и русских.

В 60-е годы либеральный город стал прибежищем хиппи, в основном тоже англо-американских. В двойные годы с интервалом примерно в столетие 1333, 1466, 1557, 1844 в городе происходят сильные наводнения. Очередное по традиции ждут в 2055 или 2077 г.г. Пока

¹ *Стендаль. Рим, Неаполь и Флоренция // Собр. соч. Т. 9. С. 126*

самым страшным было наводнение 1966 года. И тогда с виду на все наплевавшие длинноволосые парни и девушки в рваных джинсах на недели добровольно стали в очередь по пояс в холодной воде и жидкой грязи в подвалах Национальной библиотеки, передавая друг другу манускрипты и, в итоге, спасли 700 тысяч редчайших книг. Стояли ночью при свете свечей. К ним присоединились многие другие иностранцы, среди которых был русский пианист Святослав Рихтер и американский сенатор Роберт Кеннеди.

Флоренцию мы рассматриваем не как иностранный, а свой, наш город. Почему Флоренция, а не Париж, Лондон, Вена, Берлин, — спрашивает американский автор Давид Левитт. И сам себе отвечает: люди здесь хотят «удовлетворить идею персональной наполненности».

«Если рано сразу после рассвета со стороны реки Арно мимо здания Галереи Уффици выйти на пустую еще площадь Сеньории, — пишет он, — вы остановитесь потрясенные в центре мироздания».¹ Простота и ясность окружающих шедевров, их концентрация на очень ограниченном пространстве, создают небывалую

¹ *David Leavitt. Florence, a Delicate Case. Bloomsbury; New York, 2002. P. 5, 25.*

(для людей впервые едущих во Флоренцию чисто интуитивную) силу притяжения к этому «центру мира».

Стендаль пишет о ходьбе «по этим величавым улицам, с которых еще не стерлась печать страстной жизни средневековья... Флоренция, вымощенная крупными, неправильной формы плитами белого камня, отличается редкой чистотой; на улицах ее вдыхаешь какое-то особое благоухание! За исключением некоторых голландских городков Флоренция, может быть, самый чистый город в мире и, верно уж, один из самых прелестных. Его греко-готическая архитектура обладает всей четкостью и законченностью прекрасной миниатюры. К счастью для внешней красоты Флоренции, жители ее вместе со свободой потеряли энергию, необходимую для того, чтобы воздвигать мощные здания. ... ничто не нарушает прекрасной гармонии этих улиц, еще дышащих возвышенным идеалом средневековья. Во многих местах Флоренции, например, при спуске с моста дела Тринита и у дворца Строцци путешественнику может казаться, что он живет в 1500 году...». На площади Синьории, по мнению Стендаля, можно увидеть «величайшие произведения

флорентийского искусства, самого живого, что породила ее цивилизация».

Интересно наблюдение Стендаля о схожести Флоренции и современного ему Парижа. «Знаменитые Кашины — парк для прогулок, где показывают себя люди из общества, — расположены наподобие наших Елисейских полей. Не нравится мне то, что они постоянно наводнены русскими и англичанами: их не меньше шестисот человек. Флоренция — это музей, переполненный иностранцами... Все русские, обладающие здравым смыслом и средствами, считают своим долгом хоть одну зиму провести во Флоренции».¹

Флоренция и Россия. Герб Демидовых на фасаде знаменитого собора Санта Мария дель Фьоре — главной церкви города. Традиционная связь, но все же 21 век особый. Россия уже не та мощная империя, которой была в течение 300 лет. Экономика и политика сами по себе ничего не могут изменить, особенно если они не поддержаны признаками духовного роста. Может быть, именно сейчас нам важно осознать, как Италия, раздробленная и почти полностью утратившая мощь былой Римской Империи, сумела пять-шесть ве-

¹ Стендаль. Указ. соч. С. 137, 205

ков назад произвести вулканический выброс необыкновенной духовной мощи. Такие примеры для нас, граждан распавшейся империи, уже стали значительно более важными. После разрушения советской утопии, нам следовало бы разобраться с тем, как и почему осуществленная утопия Флоренции 15 века (точнее до 1492 года) осталась в веках примером конституционного строя, обеспечившего наивысшие возможности для выдающихся достижений не только в искусстве, но и в политике, промышленности, банковском деле.

Хождение во Флоренцию — это путешествие к истокам многих лучших образцов русской архитектуры и возвращение к памяти о хотя бы на краткое время сбывшейся мечте человечества, об осуществленной утопии.

Почему Флоренция так близка России, в чем причина этого постоянного духовного и физического тяготения к ней? Ссылка на наблюдение подобных или похожих явлений во многих других странах нам не поможет.

По преданию род великого русского поэта Тютчева ведет свое происхождение из Флоренции, так что все его творчество можно назвать российско-флорентийским. Это придает иной окрас его самому знаменитому четверостишью:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная статья—
В Россию можно только верить.

Иосиф Бродский заметил, что в 18 и начале 19 веков Петербург стал «подлинной Меккой» для итальянских архитекторов и декораторов. Он же написал, что итальянскому перу принадлежит характеристика Петербурга как «окна в Европу».¹ Петр Великий, по его мнению, «представлял себе город как духовный центр новой России: источник разума, наук, просвещения, знания... Нет другого места в России, где воображение отрывалось с такой легкостью от действительности: русская литература возникла с появлением Петербурга... Возникает странное чувство, что все это не Россия, пытающаяся дотянуться до европейской цивилизации, а увеличенная волшебным фонарем проекция последней на грандиозный экран пространства и воды... Неудивительно, что порой этот город производит впечатление эгоиста, занятого исключительно собственной внешностью.

¹ Бродский И. Меньше единицы. М., 1999. С. 73.

Безусловно, в таких местах больше обращаешь внимание на фасады, чем на наружность себе подобных... Возникновение Санкт-Петербурга было равносильно открытию Нового Света: мыслящие люди того времени получили возможность взглянуть на самих себя со стороны... Совершенная до абсурда архитектура... Город, который начинался как прыжок из истории в будущее... Любая критика человеческого существования предполагает осведомленность критикующего о высшей точке отсчета, лучшем порядке.

Так сложилась история русской эстетики, что архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга воспринимались и воспринимаются как предельно возможное воплощение такого порядка (включая церкви). Во всяком случае, человек, проживший в этом городе достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея...».¹

Петербург сразу строился как осуществленная утопия, тогда как ведущая хронологию с древнеримских времен Флоренция становилась осуществленной утопией в течение 13-15 веков.

¹ Бродский И. Указ. соч. С. 74, 77, 78, 79—80, 81, 82, 84

Но оба города (каждый в свое время) стали, как писал о Петербурге Белинский, «новой надеждой старой страны». Надежда в полной мере никогда не сбывшаяся, но уже навсегда не забытая.

Далее Бродский говорит об «утопическом характере города» и сравнивает его с Флоренцией, считая, что главная утопия здесь — это надежда на духовное содержание, которому не дают пропасть в буквальном смысле «стены». Архитектурные шедевры, которые понемногу отдают современности часть сосредоточенной в них флорентийской эстетической мысли, поддерживают хотя бы минимальный уровень культуры и духовности.

«Дома вдоль набережных все больше и больше напоминают остановившийся поезд: направление — вечность... Человек, рожденный в этом городе, нахаживает пешком, по крайней мере, смолоду, не меньше, чем хороший бедуин... оттого, что идти по набережным из коричневого гранита... есть само по себе раздвижение жизни и школа дальновзоркости. В зернистости гранитной набережной... есть что-то такое, что пропитывает подошвы чувственным желанием ходьбы».¹

¹ Бродский И. Указ. соч. С. 90, 89

Длиительные цитаты из Бродского нам необходимы, поскольку все они, во-первых, могут и должны быть обращены к самой Флоренции, а, во-вторых, являются, возможно, лучшим в русской литературе объяснением связи Флоренции и России.

Удивительно, что Бродский здесь повторился, так как в стихотворении «Декабрь во Флоренции» писал, что «набережные напоминают оцепеневший поезд», но уже о флорентийских домах. Еще более интересно, что он (конечно невольно) повторил и Осипа Мандельштама, написавшего о «зернистом граните» не то Петербурга, не то Флоренции:

«С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами».

Поэт русского зарубежья Кирилл Померанцев, написав «За окном флорентийское небо и на нем петербургский рассвет...», тоже отчасти повторил образ Мандельштама из стихотворения (повторим еще раз!):

«Заблудился я в небе, — что делать?

Тот, кому оно близко, ответь!

.....

Не разнять меня с жизнью, — ей снится

Убивать и сейчас же ласкать,

Чтобы в уши, в глаза и глазницы

Флорентийская била тоска».

Нужно отметить, что флорентийский (фрязинский) подход сблизил в своих российских архитектурных поисках православный и итальянский католический церковный облик. Об этом тоже написал Бродский «Что же касается всей этой истории с противопоставлением православия остальному христианству, оно никогда не заходило слишком далеко, поскольку соборы и церкви проектировались теми же архитекторами, что и дворцы. Так что пока не ступишь под их своды или не присмотришь к форме креста на куполе, невозможно

определить, к какой церкви относится сей дом молитвы...».¹

Флорентийская мечта характерна для многих наиболее интересных высказываний о Флоренции.

«Когда проходят первые эмоции, появляется удивительная возможность в сохранившейся большей частью исторической атмосфере, где были написаны картины, видеть разные полотна одного и того же мастера. Приятно, когда взглядишься в ряд картин одного художника настолько, что его мирозерцание станет ясно, поймешь его идеал, вкусы, цели — его душу», — писал из Флоренции Иннокентий Анненский.

Русским певцом Флоренции стал Павел Муратов: «Ближе всего к Флоренции тот, кто любит. Для пилигримов любви она священна; в ее светлом воздухе легче и чище сторает сердце. Счастье любви здесь благороднее, страдание прекраснее, разлука сладостнее. На этом древнем кладбище любви слишком много сожжено великих душ и слишком много пролито драгоценных слез, чтобы не верить здесь в искупле-

¹ Бродский И. Указ. соч. С. 83, 84.

ние. Все, что здесь создано, создано любовью. Храм и картина, фреска и барельеф — это все кенотафии ее долгого сна, не смерти, а только сна... Флоренция жива, и ее душа еще не вся в ее картинах и дворцах, она говорит с каждым на языке простом и понятном, как язык родины»¹.

Аполлон Григорьев в 1858 году написал:

«Над Флоренцией сонной прозрачная ночь
Разлила свой туман лучезарный.
Эта ночь — точно севера милого дочь!
Фосфорически светится Арно...»

В 1902 году Вячеслав Иванов отозвался похожими рифмами:

«В стране богов, где небеса лазурны
И меж олив, где море светозарно,
Где Пиза спит, и мутный плещет Арно»

Михаил Кузмин в 1921 году, когда в России свирепствовал красный террор, написал во Флоренции:

¹ Муратов П.П. *Образы Италии*. М., 1999. С. 104—106.

«Блестят соломенно
Обложки книг.
В каком Апреле
Проснулись мы?
На самом деле
Нет тюрьмы?»

Несколько поэтических строк Мережковского о Микеланджело может быть стоят больше, чем весь его роман о великом скульпторе.

«Твое упорство вечное в работе,
Твой гнев, издатель Страшного Суда,
Твой беспощадный дух, Буорнаротти...
Усиьем тяжким воли напряженной
За миром мир ты создавал как Бог...
..... и были у тебя
Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.»

Здесь Мережковский, как и Бердяев, говорит о невозможности достижения целей Ренессанса. В то время еще трудно было представить, что целый общественный переворот, завершившийся отставкой харизматического

главы государства Де Голля, (как это произошло во Франции в 1968-1969 годах) может пройти под лозунгом французских студентов «Будьте реалистами — требуйте невозможного». Высший реализм Возрождения, за который его многие приземленные потомки даже упрекают, заключался как раз в стремлении преодолеть или отодвинуть черту невозможного.

Поэты конца двадцатого века пишут о Флоренции, не только выражая свои чувства, но и пытаясь объяснить явление Флоренции, а главное — очень не хотят с ней расставаться.

Несостоявшийся архитектор, но вполне солидный советский поэт Андрей Вознесенский написал трогательные строки.

Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкий,
свои палаццо и туманы.
Я знаю их. Я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске,
спит Баптистерий, как развитие
моих проектов вырезвителя.

Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади
ты — калька с юности, Флоренция!
брожу по прошлому!

Пронзительней других из современных поэтов может быть выразил флорентийскую мечту
Петр Вегин:

Трудна дорога. Выгоришь не выгоришь.
Выигрывает, кто не тормозит.
Как белых шахмат
безупречный выигрыш,
Торжественно
Флоренция стоит!

Жить, плакать, ошибаться, целовать
и совершать обгоны — все по силам,
Мы молоды, чисты, смелы, красивы.
Единственно, кого не перегнать, —
Флоренцию. Простите нас, простите,
палаццо, фрески, фонари, мосты,
по чистоте вы так нас обогнали —
Я сам не лгал, но за других прости.

О шахматная девочка моя,
Флоренция, святая, световая,
с чистейшею душою фонаря,
Я не умру, пока тебя не увидаю.

Флоренция открывала новые, даже не земли, а континенты. Этот город не повторял и не копировал старую Грецию и античность, он создавал новое, скажем, новую Америку культуры. Кстати, сухопутная Флоренция дала миру путешественника Америго Веспуччи, в честь которого «Индия» Колумба была названа Америкой, и мореплавателя Джованни Веразано, открывшего Нью-Йоркский залив, о чем и напоминает мост его имени, соединяющий два района города Нью-Йорка: Бруклин и Стейтен Айленд.

Некоторые флорентийские политики дали образцы классического правления с точки зрения обеспечения безопасности граждан города, развития культуры, яркости и многосторонности собственной индивидуальности, создания непропорционально значительного влияния маленького города-государства на всю европейскую политику своего времени. Такими были, например, Лоренцо Медичи Великолеп-

ный (1449-1492), а также его дед Козимо Медичи (1389-1464), последний в числе прочих своих громких деяний, включающих возврат европейской культуре почти уже утраченного наследия Платона и основание первой в Европе публичной библиотеки, еще потратил два года своей жизни на последнюю в истории серьезную попытку объединения католической и православной церквей.

Флорентийская Республика и лично Козимо Медичи финансировали и всячески поддерживали проведение в 1439-1441 годах Флорентийского Собора, означавшего интенсивные и широкомасштабные переговоры между католической и православной церквями об их объединении, как условия серьезной военной помощи Византии против турок со стороны Запада. В итоге, в ходе этих переговоров, и особенно после вскоре наступившего кровавого конца Византии, Флоренция наполнилась уникальными греческими учеными — философами и богословами, а также сохранными в Византии рукописями Платона с его мечтой об идеальном республиканском конституционном строе, а также и новым взглядом на древнегреческое искусство, известное в Италии в основ-

ном через римские копии. В каком-то смысле Древний Рим, а затем Византия были во многом пассивными хранителями древнегреческих идей и традиций, в том числе их раннего симбиоза с библейскими идеями (например, в Александрии начала первого тысячелетия). Поэтому Флоренция стала в XV столетии каналом, через который несметное культурное богатство древних идей перетекло в христианское море, превратив его в океан, который мы сейчас называем западной цивилизацией.

Вице-мэр Флоренции Еугенио Джани рассказал нам, что ему известны зарубежные флорентийские землячества уроженцев города, но он впервые услышал о таком, как наше Флорентийское общество, которое объединило в Москве в основном россиян, любящих Флоренцию и флорентийскую культуру. А еще он написал в предисловии к одной из книг «Флорентийского Общества» следующее:

Если Флоренция действительно является «русской мечтой», то для сегодняшних флорентийцев большая честь с волнением осознавать, какой отпечаток оставил наш город в умах русской интеллигенции, выдающихся деятелей культуры, которые сегодня играют заметную

роль в жизни московского и российского общества. Я убежден, что укрепление наших контактов приведет к еще большему взаимному духовному обогащению».

Ренессанс, который так удался флорентийцам в 15 веке, является не чисто историческим (то есть оставшимся в истории) явлением, а, скорее путеводителем по настоящему и по истории будущего. Воспоминания о Ренессансе всегда «воспоминания о будущем». Когда Ренессанс станет прошлым, победит террор и закончится современная цивилизация. Не случайно информационное сообщение о создании Флорентийского общества опубликовано в газете «Время новостей» 17 сентября 2001 года под заголовком «Террор и Возрождение». Приведем дословный текст этого сообщения:

«Ранним утром 27 мая 1993 года сицилийская мафия взорвала во Флоренции всемирно известную галерею Уфицци и примыкающие дома. Люди и картины погибли во сне.

Галерея была символом европейской культуры. Торговый центр в Нью-Йорке был символом американской экономики и архитектуры. Это сопоставление доказывает: террор — не

борьба мусульман и христиан, бедных и богатых, иноплеменников и соотечественников. Террор — прежде всего подавление духа и цивилизации как таковой.

Учрежденное в Москве осенью 2001 года «Флорентийское общество» было задумано еще до американской трагедии. После нее тема Возрождения возникает как бы заново: теперь Ренессанс — это «воспоминания о будущем», о возможности подъема цивилизации после попытки ее разрушения...

Флорентийское Общество ставит своей целью способствовать Возрождению идей и ценностей Возрождения в России».

Флорентийское Общество хочет стать напоминанием о величии и возможности духовного подвига, совершенного во Флоренции 15 века. Его, наверное, можно повторить или хотя бы попытаться повторить, конечно, по-другому. Не нужно отказываться совсем от утопии. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Почему нет? Так бывает. Это навеяло Флоренция, как она навеяла Рильке 100 лет назад.

I. «Понимаешь — мы в самом начале.

Так, словно ничего еще не было.

За нами — тысяча
и один сон —
и никаких дел.

II. Нет для меня ничего более блаженного,
чем знать это, Одно:
что надо стать Зачинателем.
Кем-то, кто напишет первое слово
после тире, растянувшегося
на сотни лет».

Флоренция гордится тем, что в ней написана Чайковским опера «Пиковая дама», а Достоевским — роман «Идиот». Им она помогла. Может быть, сегодня она поможет кому-то из россиян сделать что-то великое.

Чувство безнадежности и безверия в победу гуманизма и наступление хоть какой-то гармонии не может победить, пока существует Флоренция. Из наших современников лучше Яна Бруштейна об этом никто не сказал.

«А если завтра не настанет,
И снег не стает с наших век?
Но Санта-Кроче, как Титаник,
Вплывает в двадцать первый век».

Содержание

Глубокое дыхание.....	3
Моя тоска на... ..	5
1. На Нерли.....	5
2. Мечта о Тоскане.....	6
3. Флоренция	7
4. Фрязины	8
5. Просодии	9
6. Джулиано.....	10
7. Ангел Мишенька.....	12
8. Роща Чистилища	14
«Когда я по лунной дороге уйду...»	16
Время средних.....	17
Туман. Катынь.....	19
Нить.....	20
Сон.....	21
Стихи сыну	23
Коктебель	25
Ученик Пигмалиона	27
Монолог атланта.....	28
«...и если горечью случайной...»	29
Саше	30

Автобусом в Телави	32
Якиманка.....	35
Железный зверь.....	36
Сестрорецкое	38
Мой прадед	39
Мой дедушка, сапожник.....	41
Петербург	42
Любовь.....	43
Романс	46
19 августа любого года.....	47
Львица.....	48
Попытка.....	50
Страсть	51
Поэт и птицы.....	52
Старый город	56
Зеленая волна	58
Миф о красных деревьях.....	59
«И будет: утро зазвенит...»	61
Судьи	62
Последний пират	64
Дом-корабль	66
Из цикла «Этюды для Юли»	67
«Держусь за жизнь, за пыль ее и стыд...».....	67
«В реанимации окно...»	67
«Я был крылат, и в затяжном прыжке...»	67
«Если б молодость знала, если б старость могла.».....	68
«Жить медленно. Осталось мало мигов...».....	68

«Через мосты или подмостки...»	68
«Я закопал свою судьбу...»	69
«В этой невообразимой дали...»	69
Черновик	70
Осеннее	71
Зимнее	73
Река Амур, 1968 год	74
То ли белым, то ли красным	75
Попытка выжить	77
Доктору Гумис	81
Паук	82
Из России с любовью	84
Легенда	85
«Душа наладилась в дорогу...»	87
Бессонница	88
9 мая	89
Ныряющий с моста	90
Далеко під Полтавою	91
Яблоки	92
Следы на пыли	93
Планета Снегирь	96
Где	98
Город, Башмачкин...	99
Прощание с Арахной	100
Раковина	101
«А музыка была вначале...»	102
Летальное	103
Ветер	104

Слово.....	105
От порога до побега.....	106
Ноябрь	107
Другая вода	108
Мой брат.....	109
Буратиновое	110
Пегас.....	111
«От моей судьбы цветастой...».....	112
<i>Петр Баренбойм. Флоренция в России</i>	<i>113</i>

Ян Бруштейн
Тоскана на Нерли



Издательство «Летний сад»: 121069, Москва, ОПС 69, а/я 46.
Сайт: <http://letsad.info>
E-mail: letsad@letsad.info

Книжные магазины «Летний сад»:
Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 (в здании Российской
государственной библиотеки, 3-й подъезд);
Москва, Калашный пер., 4 (м. «Арбатская»).

Подписано в печать 4.04.2011. Печ. л. 4,75. Печать офсетная.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура MinionPro. формат 70x100/32.
Тираж 1000 экз. Заказ №

Тоскана на Нерли



Мечта о Флоренции вроде вериг:
Болит-не болит, а тихонечко ноет,
И длится мое проживание земное,
Двенадцать шагов от окна до двери.
Там воздух так вкусен, бездымен и чист.
Я вижу, как время свивается в узел,
И как пролетают усталые музы
К последним поэтам, не спящим в ночи.
Флоренция словно спасательный круг
В летальной борьбе между болью и светом.
А кто победит...я узнаю об этом
В той жизни, где снова мы вступим в игру.